

О ПРАВДЕ И ФАЛЬШИ

Это было очень давно, задолго до перестройки. Мне тогда было 19 лет, я училась на филфаке и работала в молодёжной редакции областного радио. Меня послали взять интервью у матери Героя Советского Союза А.Хользунова, чьим именем названа саратовская улица. Надо было сделать одну из тех парадных показушных передач, которыми пестрел наш местный эфир в те годы.

Я застала старую, одинокую плачущую женщину, которая сидела уже несколько дней голодная, без молока и хлеба. Она жаловалась мне на пионеров школы имени её сына, которые забыли про неё и давно не навещали, высказывала ещё какие-то обиды. Я пошла в магазин и купила ей продуктов (потом моя начальница мне выговаривала, что я не должна была этого делать, что это не моя обязанность. Вроде как я этим – в её глазах – подрывала авторитет редакции).

Поев, женщина немного успокоилась, и я включила «репортёр» (так тогда назывались громоздкие, в 5 кг весом, редакционные диктофоны). Она стала вспоминать свою жизнь, погибших на войне мужа и троих сыновей. Они все были для неё равны – и герои, и негерои. Вспоминала и плакала. Я запомнила один эпизод: как младший сын всегда дарил ей весной сирень – её было полно в окрестных двориках. Когда шла война, сирень, ничуть не считаясь с этим, цвела особенно пышно – рвать её было некому. Весной 45-го мать получила последнюю похоронку. Когда мы разговаривали, кусты сирени кудрявились и колыхались за окном. Она всхлипнула: «Теперь мне уже мой сыночек сирень не принесёт». Меня поразило тогда: ведь больше 20 лет прошло, а для неё всё было словно вчера...

Я не могла делать из её рассказа «парадный» репортаж, я написала всё как есть. Мой материал исчеркали, заставили всё переписывать. Но самое дикое было на монтаже, когда звукорежиссёр, ругаясь, вырезал каждый всхлип женщины на плёнке, убирая, по его выражению, «сопли». Тогда делали так называемый «кровный» монтаж, то есть вырезали слово (даже междометие), если оно в чем-то противоречило идеологии. Все передачи должны были кончаться оптимистически. Матери героев плакать не должны, они должны были гордиться своими сыновьями. Меня жёг стыд за ту искорёженную редакторами передачу, где правду заменили фальшью.

Как я ненавижу этот тупой, самодовольный, толстокожий оптимизм, не желающий слышать чужую боль, равнодушный и нетерпимый ко всему, что нарушает его сытое благополучие. Извечное «сделайте мне красиво». Главное, чтоб мой взгляд, мой слух ничто не оскорбляло, не тревожило, не царапало, а что там, как там на самом деле – наплевать. «Кто плачет там? Мне слёзы не видны...»

Сколько сюжетов было под запретом! Я часто ходила мимо интерната слепых, который был тогда в подвале на Вольской, и мне захотелось сделать передачу о его обитателях. Моё начальство пришло в ужас. Нельзя! Негатив. На

такие вещи было Табу. О старой, больной брошенной всеми женщине, которая ведёт себя не как мать героя – нельзя. Надо врать. О каком-нибудь идиоте-передовике, который двух слов не свяжет, надо писать, приукрашивая, сочиняя ему «образ», подгоняя под модель «нашего современника». Мне стало тошно, и я ушла с радио, хотя в принципе очень любила эту работу. Мне нравилось записывать людей, как бы фотографировать их голоса, их неповторимые интонации. Мне даже расшифровывать записи нравилось, хотя это была очень кропотливая, нудная работа: каждое слово с плёнки надо было переносить на бумагу, чтобы потом из этой «прямой речи» выбрать нужное.

В своих лекциях (это уже было перестроечное время) я могла говорить всё, что думаю и что хочу сказать. Никто мне не зажимал рот, не ловил на слове (недостаточно идеологически выверенном), не вычёркивал и не запрещал моих мыслей и чувств. Это была моя свобода. И мои слушатели это ценили и отвечали мне такой же искренностью и откровенностью (я много лет храню их исповедальные письма, эмоциональные отклики). Но встречались и другие. Те самые любители фальши и лакировки, хрестоматийного глянца. С такими у меня возникали, как и встарь, «перпендикулярные» отношения. Один из таких случаев произошёл совсем недавно.

Однажды в конце вечера о Н.Рубцове ко мне подошла женщина и представилась: «Елена Сапогова». До этого я не видела её, только читала о ней статьи в газетах. Она восторженно отозвалась о лекции и пригласила меня на свой концерт в консерватории. Мы с Давидом пошли, нам понравилось, как она пела. Я пригласила её спеть на вечере Некрасова, который готовила. Она охотно согласилась.

Потом я разбила эту лекцию на две части (по два часа в каждой): ранний Некрасов петербургского периода 40-х годов и поздний – 50-60-х. Сапогова вызвалась спеть на обоих. На первом вечере это должны были быть «Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной» и «Двенадцать разбойников». Предупредила её за четыре месяца (она просила сказать заранее). Раз пять перезванивались, уточняли, где и когда она вступает, после каких моих слов, на какой примерно минуте. За день до выступления спрашиваю: «Может быть, Вам нужен зал – порепетировать? Может, придёте пораньше?» – «Нет-нет». Ну, думаю, наверное, дома репетировать будет.

И вот объявляю Сапогову. Она выходит и, спев несколько строк «Тройки», обескураженно замолкает. «Забыла!» – с детской непосредственностью – залу. Достает записную книжечку со словами, пытается их разобрать, но не видит без очков. «Ничего не вижу!» – с раздражением. Сцена не освещена – никто не думал, что она будет петь по бумажке. А ведь знала за несколько месяцев! Какой позор. Какое неуважение к публике, к Некрасову, наконец. Но зал всё это ей простил, даже наградил аплодисментами, когда она с грехом пополам спела.

«Ладно, – подавила я в себе зреющий протест. – Всё-таки народная артистка. Иногда посматривала в ее сторону – у нее было злое, раздраженное лицо. «Наверное, злится на себя, на свою оплошность», – смягчилась я. «Надо

будет как-то успокоить, мол, ничего страшного», – мелькнуло в мыслях. Но оказалось, она злилась не на себя – на меня. Когда я объявила следующую песню, – вышла на сцену, как на баррикаду.

– У каждого свой Некрасов. У меня – Некрасов-гражданин! – с пафосом провозгласила она. И стала с вызовом читать «Назови мне такую обитель», нарушив таким образом композицию, канву моей лекции. Ведь я исподволь подводила свой рассказ к её песне «Двенадцать разбойников», читала «В больнице», «Влас» – о том, как героев переломила болезнь, как они пришли к Богу, знакомила с народной легендой о раскаявшемся разбойнике. Она всю логику мне поломала, так как после стиха без всякого перехода и связи с предыдущим запела «Разбойников». Едва спев, не дослушав аплодисменты, размашистым шагом вышла из зала. «Я такой злой её ещё не видела. Что это с ней?» – недоумевала библиотекаряша.

Звоню ей на другой день:

– Ничего не изменилось, будете у нас петь?

– Нет, не буду, Наталья Максимовна (хотя везде уже развешаны объявления с её фамилией. И договорённость была заблаговременной и неоднократной).

– Я буду в этот день в командировке.

– Ясно. Это официальная версия. А на самом деле? Вас, кажется, что-то смутило в моём рассказе?

– Очень смутило, Н.М. Даже возмутило. Я даже нитроглицерин пила.

– Что же?

– Я уже говорила, что для меня существует только Некрасов-гражданин. И мне дела нет, с кем он там жил в гражданском или негражданском браке.

– То есть как, это до Панаевского цикла Вам нет дела, этой жемчужины русской поэзии? Ведь Некрасов же писал не только крестьянские стихи, как мы учили в школе. У него прекрасная любовная лирика, которая тоже обильно питалась страданием и потому так пронзительна и до сих пор современна. А что Вас смутило в гражданском браке? Брак действительно был гражданский, она не была разведена с Панаевым, тогда развод получить было трудно, почти невозможно. Рубцов, кстати, который Вам так понравился в моей интерпретации, тоже не был зарегистрирован с Дербиной.

– Мне нет до этого дела, – с гордым целомудрием заявила народная певица. – И мне жаль, что там было много молодёжи, что они слышали всё это.

– Что – это?! – взорвалась я. – Эта молодёжь подходила ко мне и спрашивала, где напечатаны эти стихи, где их достать, восторженные отзывы писали. Вы хоть бы почитали в тетради, что люди пишут.

– Ну, это Ваши поклонники, – с пренебрежением бросила она.

– Не многовато ли поклонников – триста человек? Молодёжь не увидела в этой истории любви ничего грязного, не говоря уже о том, что таким фактом, как гражданский брак, сейчас шокировать никого невозможно. Это ханжество.

– Так значит, я ханжа? – саркастически рассмеялась она.

– Получается так. Я не понимаю, Вы же смотрите канал «Культура», надеюсь. Сейчас там идёт документальный сериал И.Волгина о Достоевском – ровеснике Некрасова, который, кстати, чуть не весь вышел из этого поэта. Вы ведь не станете Волгина обвинять в пошлости? А он говорит и об Апполинии Сусловой, и о картёжной игре Достоевского, – как же это можно отделить от его творчества? Или Вы в эти моменты зажимаете уши?

Но моя оппонентка, видимо, смотрела другие телепрограммы.

– Вот как-то выступал Бари Алибасов, говорил о Пушкине, то у него там мат-перемат. Зачем мне это знать?

– Но как же Вы можете сравнивать? Где Вы слышали у меня мат? Я рассказываю о Некрасове как о живом человеке, да, не ангеле с крыльями, но я это делаю на достаточно высоком уровне, чего не заметили и не поняли только Вы. И, чтобы противопоставлять своего Некрасова моему, надо всё-таки знать о нём, простите, побольше школьной программы.

– Я не знаю Некрасова! – опять саркастический смех. – Но Вы тоже, я думаю (со злостью) – не всё досконально знаете о нём.

– Я не говорю, что всё досконально, но я прочла о нём всё, что смогла достать в нашей и университетской библиотеке, я занималась им несколько месяцев. А Вы какую литературу о Некрасове читали?

Молчание.

– И Ваше представление о Некрасове ничем не выше моего. Просто я говорю о нём не замшелыми казёнными фразами – «Некрасов – патриот, Некрасов – гражданин», подменяя ярлыками человеческую суть, а на конкретных примерах его жизни, судьбы, поступков, стихов доказываю это.

– Знаете что, Н.М., я уже взрослый человек, и мне поздно менять свои взгляды.

– Не взгляды, а стереотипы восприятия. А узнавать новое никогда не поздно.

Хотя ничего нового в принципе я на этой лекции не открыла, всё давно опубликовано, давно стало достоянием нашей культуры: и воспоминания современников о Некрасове, и мемуары его «гражданской жены» (какой ужас!) А. Панаевой, и ЖЗЛ Скатова, Жданова, и статьи К. Чуковского, и 15-томное собрание сочинений с подробными комментариями специалистов. Но не у всех, к сожалению, есть время, возможность, желание прочесть всё это.

На моей лекции люди с замиранием сердца следили за перипетиями судьбы поэта – как в 16 лет пришёл в Петербург без гроша в кармане, как выживал в подвале, пройдя все круги городского дна («Еду ли ночью по улице тёмной» – это ведь про себя, Некрасов ни о чём не писал понаслышке). Кстати, пела Сапогова эту песню, на мой взгляд, эксплуатируя одну и ту же тональность, выезжая на штампе, на технике, чувства не было. Я была поражена: ведь народная артистка должна прожить, прочувствовать, пропустить всё это через свою душу.

Люди плакали над лошадьё, избиваемой извозчиком («Под жестокой

рукой человека...»), и режиссёр телевидения из другого города строго выговаривала мне: «Вы не должны сами плакать (у меня был минутный горловой спазм, когда я это читала), мы можем плакать, а Вы не должны!» Но мне кажется, уж лучше плакать, чем бездушное и формальное исполнение, демонстрация лишь голосовых данных. Два часа просидеть в мире Некрасова, в мире его стихов, песен, снимков, иллюстраций знаменитых художников – и не дать в себя проникнуть ничему, кроме злости – это надо умудриться.

Вторую лекцию о Некрасове я читала без её песен. Их пели на плёнке Л.Харитонов, И.Архипова, И.Кобзон – думаю, не хуже. И закончила я так: «Я не буду говорить официозных фраз о «Некрасове-гражданине». Для меня он – тот чеховский человек с молоточком, напоминающий, что есть те, кому плохо, кому нужна твоя помощь, кто будит твою совесть».

В конце того вечера мне на стол легла записка с таким четверостишием-экспромтом:

Явился к Вам на лекцию хоть мент,
которому с вчерашнего хреново,
и он бы понял то в один момент,
чего не поняла Е.Сапогова.

Некрасов-гражданин... Некрасов не укладывается в это понятие, не умещается в него. Истинный Некрасов не имеет ничего общего с тем шаблонным представлением певца народного горя, к которому мы привыкли. Да, народный заступник (никогда принципиально не пользовался плодами крепостного труда, не владел людьми), но и барин (лакеи любимому псу прислуживали), и эстет (простонародное имя «Фёкла» жены переименовал на более благозвучное «Зинаида»), и, между прочим, западник, игрок, делец, великий предприниматель, человек необузданных страстей, с поэтическим бесстрашием и беспощадностью изображавший в стихах самого себя («погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей»). И при этом – Поэт, благороднейшая душа, нежное страдающее сердце, «галлюцинант человеческих мук», «гений уныния», неделями одержимый хандрой (как сказали бы сейчас – депрессией), вечно казнимый терзаниями совести, гложимый чувством неизбывной вины.

В 1855 году он писал Боткину: «Во мне всегда было два человека, один – вечно бьющийся с жизнью и с тёмными силами, а другой – такой, каким меня создала природа». Ему была доступна одновременно и самая высокая, и самая циничная мысль о каждом предмете. В 1857 году, возвращаясь из-за границы, Некрасов восторженно приветствует родину: «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!» И в то же самое время в стихотворном послании другу пишет о том же возвращении на родину:

Наконец из Кенигсберга
я приблизился к стране,
где не любят Гутенберга
и находят вкус в говне.

Выпил русского настою,
услыхал ... мать,
и пошли передо мною
рожи русские писать.

Наверное, если б эти стихи прочли или услышали некоторые наши ортодоксальные патриоты – в обморок бы упали от такого Некрасова. Если человек долго сидел в подвале и вдруг вышел на свет божий – он может ослепнуть. Вот так и тот, кто имел скудные знания и вдруг узнал столько нового, впадает в состояние ступора. При малейшем отступлении от замшелых хрестоматий он делает стойку: стоп! Мы это не проходили – щёлкает у него в голове. Это какая-то отсебятина. Почему я этого не знал? («Что это ещё за литература? – взывал ко мне Зрячкин в своей анонимке. – Покажите нам её! Мы её не съедим»). Не знал – значит, нет, не должно быть. – Такая вот в небогатом мозгу выстраивается цепочка.

А если ещё человек с амбициями, претендующий на то, что он знает многое, если не всё, – во всяком случае, до моей лекции он был в этом совершенно уверен, – то смятение от неведомых знаний переполняет, он не может примириться с мыслью, что полный профан, и – грудь вперёд, ноздри раздуваются от праведного негодования – в природе которого он себе не может признаться, и – к спасительной двери. Вот так однажды ринулась с моей лекции о Цветаевой чтица Лавринович, не вынеся услышанного. А потом мне усиленно предлагали её услуги на вечерах с чтением стихов.

– Но ей же не нравятся мои лекции?

– Ну, ради такого дела она закроет на это глаза.

Нет уж. Постараюсь впредь избавить свои вечера от таких исполнителей, которые «любят свою родину с закрытыми глазами и запертыми устами».

29 января 2007 года по каналу «Культура» идёт передача «Пленницы судьбы» об Авдотье Панаевой. Куча авторов и ведущих: историк Анатолий Марголис, поэтесса Татьяна Вольтская и др. Поразила пошлость и поверхностность передачи. Подробно – о похождениях Панаева, о том, что «супружеский долг он выполнял разве что в медовый месяц», – с удовольствием поизгалявшись по этому поводу. В пренебрежительном тоне – о Панаевой: неграмотная, в мемуарах от неё досталось и Тургеневу, и тем, и другим – но ни слова о том, почему, за что. Пренебрежительно-снисходительно о Некрасове: делец, игрок, «злой советчик» Панаевой в «огарёвском деле» (десять минут из тридцати – об этом тёмном запутанном деле – зачем? Ведь ничего толком неизвестно, одни домыслы). А лексика! «Финансовая пирамида!» «Современник» – проект, который кормил Некрасова!»

Акценты!!! Безбожно смещены акценты в этой передаче с главного – на второстепенное, побочное. В результате у зрителя создаётся впечатление, что эти Некрасов и Панаева – обычные люди со своими слабостями, ничем не лучше нас, и телеведущие, снисходительно рассказывающие нам о них, – неизмеримо их выше, моральнее и умнее. Да они недостойны у той же

Панаевой ботинок зашнуровать!

Ради чего была сделана эта передача? Да, я тоже стремлюсь показать на своих вечерах живых людей, но я отбираю наиболее характерные факты, а не случайные, «жареные», для меня главное – показать, за что мы ценим ту же Панаеву, почему она осталась в благодарной памяти потомков, в чём её след в истории. Ни слова – о прекрасной любовной лирике Некрасова, вдохновительницей которой была Панаева (только с ухмылочкой: «Он был настоящий Отелло!»)

А этот эпизод, когда она, старая, больная, нищая, пишет письмо Чернышевскому, жалуясь на безденежье, отовсюду изгнанная, и вдруг – в раскрытое окно – романс о ней, положенный на музыку уже десятками композиторов. Люди в зале плакали, когда я рассказывала об этом. В этом штрихе – вся она. И в мемуарах её главное – не ошибки, а её посмертная верность Некрасову, то, что она в них ругала тех, кого ругал бы он. Она ни разу ни в чём его не упрекнула.

Муза поэта. Это не прозвучало ни разу. Зато пренебрежительно: «Да, она была соавтором Некрасова, но вы почитайте эти романы! Это же слабая литература!» Зачем же советовать читать, раз слабая. Почему бы не посоветовать почитать любовную лирику, адресованную ей? А ведь в неё были влюблены не только Панаев и Некрасов – и Чернышевский, и Достоевский, и даже Дюма. Фет посвящал ей стихи. Вместо всего этого – упор на трудное детство, на то, что простая, неграмотная, недалёкая. Если не знать ничего о Панаевой, возникает недоумение – а зачем вообще было о ней рассказывать? В чём её заслуга?

Когда хороший актёр готовится к роли, он перевоплощается в своего героя, он старается прочесть о нём как можно больше, понять мотивы его поступков, оправдать, показать лучшее, что в нём было. Лектор, автор передачи тоже должен мысленно прожить его жизнь, пропустить «через себя». Ничего подобного в телевизионной халтуре этих снисходительных снобов от литературы не было. Они не любят своих героев, не увлечены ими, они походя касаются их жизнью, пачкая их своими грубыми прикосновениями.

«Люби – и говори всё, что хочешь. Любовь расставит верные акценты», – писала Лариса Миллер. Я всегда делаю акценты на главном. Любовь за меня расставляет их правильно. Я не изображаю поэтов святыми, но и не перехожу ту грань, за которой поэт будет вызывать антипатию. Я даю ровно столько, чтобы мы почувствовали его живым человеком из плоти и крови, с болью, ошибками, страданиями.

В поэтической колонке, которую ведёт (или вела) С. Кекова в газете «Малиновый родник», все поэты в её изображении – благостные, все за уши притянуты к православию, выбираются только такие стихи и факты, всё подгоняется под эту модель. В книге А. Мадорского «Сатанинские зигзаги Пушкина» (Москва 1998) – другая крайность. Я – не то и не другое.

После вечера о Некрасове ко мне подходили со словами:

– Вы так рассказали о Некрасове, словно он здесь, сейчас, с нами.

– Как называется поэма? «Рыцарь на час»? В каком она томе?

Вот это – главная награда, задача, цель.

Я стараюсь на своих вечерах воссоздать личность поэта, дать его психологический портрет в контексте эпохи, творчества и частной жизни. Ибо ещё Лермонтов писал, что история души человеческой едва ли не любопытней и полезней истории целого народа. Тем более если это душа великого поэта.

А всем, кто выражает недовольство тем, что я как бы спускаю с котурнов классиков и нарушаю некие хрестоматийные каноны, то есть не лакирую и не приукрашиваю, как это делали раньше, а даю полнокровный, живой, правдивый образ поэта, – таким бы я хотела напомнить слова Марины Цветаевой, которая сравнивала своё творчество с водой: кто-то зачерпнёт море, а кто-то – лишь стакан, всё зависит от вместимости сосуда – головы, сердца – и от степени жажды. Точно так же каждый берёт от этих лекций ровно столько, сколько хочет и способен почерпнуть. У кого-то застревает в сознании только тот «вопиющий» факт, что Бодлер болел сифилисом, а Некрасов – о Боже! – жил «с кем-то» в гражданском браке, а кому-то открываются целые миры, прекрасные стихи, новые знания. Одни видят, как Могуева, оранжевую сказку, другие – грязь под ногами, одни – лужу, другие – звёзды, отражённые в ней. Одни звонят: «Как можно Ахматову показывать обнажённой! (на слайдах с рисунков Модильяни). Это порнография!» «Неужели это правда, что Лорка любил Сальвадора Дали? Какой кошмар!» А другая пишет прекрасные стихи, которые назвала «На вечере Лорки»:

Как меня поразила вблизи
эта светлая бездна глаз.
А сияние Вашей души
освещало и грело нас.
Тёк рассказ певучей волной,
закипая гитарным звоном,
повествуя о сердце чужом,
неизведанном, незнакомом.
И взволнованная душа,
растревожена чудным пеньем,
мне плеснула кружевом слов,
что застыло стихотвореньем.

Это мне написала тогда Надежда Шаховская. А вот листочек, который я бережно храню с того вечера, от Нины Сергеевны Могуевой:

На пороге вечности

Федерико Гарсиа Лорке

Умирующий вечер и плач гитары,
и так печален Дон Ящер старый.
Распахивают веер свой маслины,

луна серебрит холмы и долины,
над рощами Андалузии милой
свой вечный круг совершают светила.
Заря разгорается ярче и краше,
и разбивается утра чаша,
и веет мятою с покоса,
и солнце – косточка абрикоса,
благословляя землю покоем,
всё заливают жёлтым зноем.
Вся ты прежняя и – другая,
Андалузия дорогая.
Федерико стоит у порога.
Грустный взгляд. Тяжела дорога.
Н.С.Могуева

(Стихотворение состоит из образов стихов Ф.Г.Лорки).

Наталье Максимовне
– Спасибо за Лорку!
Н.С.

Каждый видит то, что хочет видеть. Поэзия – это увеличительное стекло, которое усиливает чувства человека. Но если усиливать нечего – тут она бессильна. Тут можно только посочувствовать.

У меня была лекция, опубликованная в двух моих книжках: «Публичная профессия»(1998) и «Звезда или хлеб?» (1999), с которой я выступала в библиотеке в те годы. Лекция называлась «Живое и мёртвое» и была посвящена критериям оценки современной поэзии.

Так часто приходится читать стихи, в которых вроде бы есть всё: ум, аллюзии, всё модное слововерчение, а душа к ним не лежит. Они мёртвые. Ко всем тем критериям я бы отнесла ещё такое качество, как юмор. «Все глупости на земле творятся с серьёзными лицами. Улыбайтесь, господа!» – призывал Мюнхгаузен из знаменитого фильма. У глупых стихов и статей о поэзии тоже, как правило, «серьёзные лица». Нудные и вялые. Критик-шестидесятник Станислав Рассадин давно и безуспешно борется с излишней серьёзностью в литературоведении. Вот и недавняя его книга «От Фонвизина до Бродского» продолжает полемику с теми, кто «умерщвляет живую жизнь литературы».

К числу его примеров я привела бы ещё и свой, по поводу юмора Некрасова. Он у него восхитителен. Но почему-то некоторые исследователи и интерпретаторы его творчества этот юмор напрочь игнорируют. Вплоть до того, что позволяют себе переделывать на более серьёзный, академический лад какие-то строки поэта, показавшиеся кому-то чересчур легкомысленными. Вот, например, прелестное стихотворение Некрасова, которое я у него очень люблю:

Где твоё личико смуглое
нынче смеётся, кому?
Эх, одиночество круглое!
Не посулю никому!
А ведь, бывало, охотно
шла ты ко мне вечерком.
Как мы с тобой беззаботно
веселы были вдвоём!
Как выражала ты живо
милые чувства свои!
Помнишь, тебе особливо
нравились зубы мои?
Как любовалась ты ими,
как целовала, любя!
Но и зубами моими
не удержал я тебя...

(Считается, что это, предположительно – А.Панаева, но я уверена, это другая женщина, с которой Некрасов жил до неё, – здесь совершенно другой характер, чем у Панаевой, и другой характер отношений). Стихотворение шутовское, немного дурашливое: тут и «особливо», и эти «зубы», которые придают стиху непосредственность, лукавство, неповторимое своеобразие. Оно живое. И во многом благодаря этим «зубам». Собственно, всё стихотворение держится на этих зубах, в них-то вся прелесть, в этой улыбке.

И вот, готовясь к вечеру Некрасова, я нахожу в нашей библиотечной фонотеке пластинку советского композитора Бориса Терентьева с песнями на стихи поэта, в том числе и на это. Мелодия занудная, заунывная, совершенно не соответствующая характеру стихов. И вдруг слышу: певец выдаёт нечто отнюдь не некрасовское, а, как я подозреваю, плод творчества самого Терентьева (или исполнителя Евгения Беляева): «Помню, тебе особливо нравились очи мои». Видимо, советским авторам «зубы» показались непоэтичным, неэстетичным словом, и они ничтоже сумняшеся отредактировали классика, заменив на высокопоэтическое «очи» (см. моё эссе «О красоте и красивости»). Ну и соответственно последнюю строчку «улучшили»: «но и глазами моими не удержал я тебя». И всё, очарование ушло. Напыщенное «очи» (никогда никакой мужчина – если, конечно, он не Нарцисс и не Куракин – не скажет о себе «очи») убило живую непосредственную интонацию стиха, сделало его плоским, попросту неумным, особенно в серьёзном, даже торжественном исполнении тенора. Классик же, какой тут может быть юмор! А то, что недопустимо самочинно исказить и корёжить строки классика, пользуясь тем, что он уже умер и не сможет отстоять свои стихи – этого им никто в консерватории не объяснил. Поэтому приходится объяснять мне.

В августе 2000 года О.Барабанова пригласила меня на обсуждение в СП только что вышедшего седьмого номера альманаха «Саратов литературный»: «Может быть выступите?» Я решила, что раз обсуждение – то от меня ждут какого-то анализа публикаций, критики, оценки. Добросовестно проштудировала номер, набросала себе кое-что, стараясь избегать резких красок и выражений, – презентация всё-таки. Но, как оказалось потом, никакой критики от меня не ждали, у них для критического обзора была Тяпугина, а под выступлением Ольга Егоровна подразумевала моё прочтение одного-двух стихов.

Тяпугина говорила ровно 20 минут, умудрившись за это время ни-че-го не сказать (перечисляла авторов публикаций, не поскупившись на льстивые слова корифеям, не упомянув только одного автора – меня, говорила, что как-то покритиковала кого-то и эти кто-то с ней пять лет не разговаривали, что когда-нибудь она, несмотря на это, снова кого-то покритикует...) Поражаюсь, как можно так строить свои выступления. Протянув положенное время, она тут же ушла. Я поняла, что должна взять на себя этот обещанный «критический обзор», которого не было и в помине. (Если не считать криков Байбузы с места о новом романе Корнилова: «Это маразм! Маразм!!!» Но в чём этот маразм, так и не смог сформулировать).

Меня задела публикация одной юной особы, Ольги Черногаевой, её эссе о письмах Пушкина Н.Гончаровой «Жёнка, мой ангел!», которое она, как говорили, написала ещё в школе. Все шумно восхищались и умилялись «вундеркиндкой». А меня это её эссе насторожило и оттолкнуло каким-то самоуверенным безапелляционным невежеством и поверхностным взглядом на семейную трагедию Пушкина, в которой Черногаева видела идиллию: «Я о прекрасных письмах великого поэта к прелестной Натали, к той, о которой говорил: «Чистейшей прелести чистейший образец». Намеренно не читала литературу об эпистолярной стороне творчества Пушкина. Мне не нужны посредники... Письма Пушкина убедили меня в том, что М.Цветаева была предвзятой по отношению к Н.Н.Пушкиной. Любовь в этой семье была взаимной. Не мог гений русской словесности писать столь доверительные письма женщине, в чьём ответном чувстве не был бы уверен, если мы, конечно, признаём, что он гений».

Всё в этих благоглупостях было неправдой, причём давно уже опровергнутой современной пушкинистикой. И – сказала я девушке – ей не мешало бы почитать всё-таки эту литературу о поэте, чтобы яснее представлять себе взаимоотношения Пушкина и Гончаровой, о которых она берётся писать. Может быть, юный возраст извиняет в какой-то степени её «розовые очки», но она печатается во взрослом журнале и должна соответствовать этому статусу. Говорила я всё это в предельно мягкой форме, даже похвалив её за какие-то частности, моей целью было – не раскритиковать начинающую эссеистку, а предостеречь от верхоглядства, защитить поэзию от неправды, отделить истину от мифов.

Миф №1. «О прекрасных письмах Пушкина к прелестной Натали».

Возьмите письма Пушкина к самым близким его людям, к друзьям, к Нащокину... Сколько в них игры, культуры, знаний! Сколько там глубины, сколько там Пушкина! И вот его письма к жене. Он, как всегда, пишет стилистически блестяще, он не может иначе, но о чём он пишет? Он передаёт ей сплетни, какую-то чепуху. Конечно, ему было что ей сказать, но ей было это не нужно, и Пушкин это понимал. Это шло бы в пустую, холодную, поверхностную душу.

Черногаева пишет, что мечтала бы, если б кто-нибудь писал ей такие письма, как Пушкин Натали. Сомневаюсь, что восемнадцатилетняя девушка может говорить это искренне. «Жёнка безалаберная», «ты опять брюхата», «какая ты дура, мой ангел» – в таком возрасте мечтают о других словах любимого. Письма Пушкина Натали не сравнить с его же письмами Воронцовой, Сабаньской или Керн, полными страсти, огня, поэзии, – они нудные, нравоучительные, прозаичные. Он пишет ей, как ребёнку, инструктируя, что делать и чего не делать: «платишь деньги, кто только не попросит, этак хозяйство не пойдёт... Не сиди, поджавши ноги, и не дружись с графинями, с которыми нельзя кланяться в публике... На хоры не ездят – это не место для тебя». Пушкин не говорит с женой в письмах ни о литературе, ни о творчестве, а пишет о том, что ей может быть интересно, что доступно её разумению: сплетни, деньги, куда ехал, что сломалось в экипаже, кого встретил, что съел и был ли понос.

Письма Натали к нему до нас не дошли, но, судя по обиженным и недовольным ответам Пушкина, были сухи, лаконичны, формальны. Более того, она не всегда их и писала-то сама: когда была невестой, то ей их диктовала мать. «Письма Ваши короче визитной карточки», – упрекает её Пушкин. А Вяземскому жалуется: «Что у неё за сердце? Твёрдую дубовую корою, тройным булатом грудь её вооружена».

К поэзии, литературе Натали была глубоко равнодушна. Но, не интересуясь стихами, строго следила за тем, сколько Пушкину за них платят, вмешиваясь в разговоры с книгопродавцами и требуя высоких гонораров. И что, с такой женщиной поэт мог быть счастлив? Хотя бы теоретически? Мне кажется, и не будь Дантеса, этот брак был бы обречён. Если нет гармонии в отношениях, понимания главного в человеке – не может быть и счастья. Ведь «счастье – это когда тебя понимают».

Миф № 2. О «взаимной любви в этой семье». То, что Гончарова не любила Пушкина, уже общеизвестный факт. Цветаева пишет: «Гончарова вышла за Пушкина без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодоухотворённой плоти – шаг куклы! – а может быть, и с тайным содроганием». Как жена она лишь добросовестно исполняла свой супружеский долг, но чувство, страсть дремали в её неразбуженном сердце. Ей тоже было несладко в этом браке. Пушкин с эгоизмом человека, всей душой живущего в другом деле, старался оградить себя от семейных волнений, уезжал из дома накануне родов

жены и приезжал, когда всё было уже позади. Он не был однолюбом, всегда был готов увлечься понравившейся ему женщиной, и женитьба его в этом плане не изменила. С Натали ему было скучно, он искал общества других женщин, а ей было скучно дома. Свет, балы, танцы были её самовыражением, способом существования, как для него – стихи.

Несколько лет назад в парижском архиве Дантеса, у его правнука барона Клода нашлись уникальные документы. Это 25 писем Жоржа Дантеса, которые он писал Геккерену в течение двенадцати месяцев, начиная с весны 1835 года. Позже эти письма были опубликованы в книге итальянской исследовательницы жизни и творчества Пушкина Серены Витале «Пуговица Пушкина». В одном из писем Дантес приводит слова Натали: «Я люблю Вас, как никогда не любила, но не просите большего, чем моё сердце, ибо всё остальное мне не принадлежит, а я могу быть счастлива, только исполняя все свои обязательства. Пощадите же меня, и любите всегда так, как теперь, моя любовь будет Вам наградой».

Скорее всего, Натали открылась мужу и рассказала ему о преследованиях Дантеса только после получения анонимного пасквиля. Призналась, что встречалась с Дантесом у Полетики, что получала и хранила его письма. В этот день – 4 ноября 1836 года – Пушкин узнал о романе жены, начавшемся ещё осенью прошлого года. Это был для него страшный удар. За два года до этого он писал ей: «Кроме тебя в жизни моей утешения нет». Теперь не оставалось и этого утешения. Ещё вчера он думал, что у него есть дом, семья.

И вот этот дом рухнул. Он не мог с этим примириться. Он не хотел больше жить. Он искал смерти.

Именно это предательство самого близкого человека стало для Пушкина решающим, а бумажка ордена рогоносцев – лишь мелкая деталь в веренице событий. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти. Он даже, отправляясь на дуэль, не взял свой перстень-талисман, оставил его дома сознательно. Пастернак, размышляя о смерти Пушкина, писал, что финал очень похож на самоубийство. Пушкин метил не в Дантеса, не в царя, он метил в самого себя. Дантес был загнан в угол, он не хотел убивать поэта. Но Пушкин срежессировал всё так, что под видом благородной дуэли, защищающей честь, Дантес вынужден был выступить в роли киллера. Давид Самойлов писал:

Он заплатил за нелюбовь Натальи,
всё остальное – мелкие детали:
интриги, письма, весь дворцовый сор.
Здесь не ответ великосветской черни,
истинное к жизни отвращенье,
и страсть, и ярость,
и души разор.

Я говорила где-то минут пятнадцать. По-моему, достаточно убедительно. Ольга не обиделась, слушала с интересом, даже что-то пыталась потом сказать мне шёпотом в своё оправдание (мы сидели рядом). Я уж хотела взять над ней в

некотором роде «шефство», снабдить литературой о Пушкине, пригласить на свою лекцию о нём, как вдруг в атаку на меня ринулся Удин. Оказывается, Ольга была его протеже, это он устроил ей публикацию в альманахе, и я теперь своей критикой задела как бы и его профессиональную честь. Он сказал буквально следующее: «Я вот не читал Ваших там – пренебрежительный жест рукой – что Вы там пишете, но то, что написала Ольга – намного живее. Она не роется в грязном белье. Она видит только чистую сторону отношений. И ведь это девочка написала, де-воч-ка, в 9 классе! Я, помню, в 9 классе дубиной был...». («Каким ты был, таким остался», – хмыкнул кто-то в сторону).

Черногаева, услышав слова поддержки от своего покровителя, гордо распрямилась, победоносно оглядываясь на «посрамлённого» критика. Бедная девочка. Теперь из неё уж точно ничего не выйдет, если за её «воспитание» взялся Удин. Впрочем, не так уж она и наивна. Вспомнился принцип «У-2», по которому писали сочинения в «Доживём до понедельника». Угадать и угодить. Угадать, какие мысли понравятся взрослым, угодить учительнице... Может быть, как раз наоборот – далеко пойдёт.

«Грязное бельё». Сколько лет я читаю лекции, столько слышу это обвинение от грязных людей. Людей с грязными мыслями и грязным воображением. К счастью, таких немного. Мои лекции – это не ликбез, там даётся не школьный минимум знаний, не хрестоматийное изложение общеизвестного. У меня театр души поэта. Вы, как в театре, следите за перипетиями его жизни, за тем, как «душа меняла имена». Это не байки Вячеслава Недошивина, которые одно время звучали по радио и ТВ, где собраны одни обывательские сплетни и совсем нет творчества. Но при этом я стремлюсь показать поэта как живого человека, его характер, личность, судьбу. Эли Фор писал: «Нам не найти поэта в поэте, если мы не будем искать в нём человека». Личная жизнь не может быть отторжена от творчества, она неминуемо становится его частью.

Я всегда стараюсь увязать свой рассказ с современностью. Ведь каждый подсознательно задаётся вопросом: а какое это имеет отношение ко мне лично? Одним словом, что ему Гекуба?

Вспоминается вечер о Елизавете Кузьминой-Караваевой. Смерть Блока. Я повторяю знаменитые фразы: «Его убило отсутствие воздуха... Он перестал слышать музыку...». И вдруг чувствую – не могу. Надоело лицемерить. Какое к чёрту отсутствие воздуха! У нас у всех отсутствие воздуха. Когда он был в России, этот воздух?! Живём как-то, приняхались. От этого ещё никто не умирал. Тем более поэт. Он во всём найдёт свою музыку, увидит и услышит то, что захочет.

На этом вечере я впервые сказала, что Блок умер от сифилиса. (Об этом пишет Ефим Эткинд, ссылаясь на Корнея Чуковского). «Блок страдал от той болезни, от которой умерли любимые им Ницше и Врубель, болезни, которая так страшно сочетала в себе связь любви и смерти». Не думала, что это вызовет такой шок у некоторых слушателей. Подходили после вечера: «Неужели?!»

Звонили домой. Сетовали, сокрушались, негодовали. Ссылались на мемуары Бекетовой. Но тот благообразный respectable буржуазный господин, которого изображает в своих записках тётка Блока, стремясь «не выносить сор из избы», не имеет с реальным Блоком ничего общего.

Да, он ходил в публичные дома (об этом его пронзительное: «Разве так суждено меж людьми?») Но кто тогда не ходил в публичные дома? Среди поэтов редко бывают праведники. Поэт – это стихия, он должен перегореть в огне своих страстей, чтобы переплавить потом всё это в свои творения. Не бывает так, чтобы прожить жизнь и нигде не оступиться, не запачкаться. Есть чистота и есть чистоплюйство, ханжество, дистиллированность души. Я много думала об этом, у меня даже стихотворение есть на эту тему:

Пройти по жизни невидимкой,
чистюлей, льдинкой, нелюдимкой,
неузнанно скользящей мимо
того, что быть могло любимо.
Не запятнав ни рук, ни платья,
презрев объятья и проклятья,
не знавшись с болью и тоскою,
во имя воли и покоя
парить в своём высоком небе,
где пусто, холодно, как в склепе.
Парить безбрежно, белокрыльно,
с душой, где снежно и стерильно,
где, только Богу потакая,
живёт лишь Муза, и людская
нога там не ступала сроду...
Переборов свою природу,
и славы ангелов алкая,
кому нужна она, такая?

Косные ортодоксы не признают сложностей жизни и всё делят на чёрное и белое. Но образ гения не может поблёкнуть от правды.

Я ясно вижу всё плохое и вокруг, и в себе. И эта ясность зрения – огромное бремя. Но не пытаюсь его себе облегчить какими-то шорами, иллюзиями. Лучше быть зрячим, чем слепым, даже если видишь много мерзкого. Правда лучше самообмана, хотя и не всем достаёт мужества её выдерживать. Ложь надо обличать хотя бы из соображений социальной гигиены.

Тем, кто склонен иметь просто красивую легенду о поэтах, какие мы знали из школьных учебников, а не правду жизни, лучше на мои вечера не ходить во избежание стрессов и нервных потрясений. Ибо это мой принцип, которым я всегда руководствуюсь в подготовке материала: рассказать о поэте так, чтобы он предстал перед людьми не мёртвым классиком с наведённым на

биографию глянец, а «живым и только, до конца». Творчество и жизнь неразделимы, одно вырастает из другого. И я всегда видела свою задачу не в том, чтобы пропеть очередной дифирамб гению русской словесности, а в том, чтобы проследить подлинный путь его судьбы. Да и в стихах открываешь новый, глубинный смысл, когда прочитаешь их в контексте жизни, видишь, «из какого сора» они выросли.

Это не только моя точка зрения, но и, например, В.Ходасевича. В своём «Некрополе» он пишет: «Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нём было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвы-шающему обману» хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порою даже за самые эти его слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания».

Эта мысль Ходасевича мне очень близка, и я стараюсь всегда в своих поэтических портретах придерживаться этого правила. При подготовке я использую не общеизвестные, а новейшие материалы, последние монографии специалистов, которые ещё не дошли до Саратова, труднодоступную литературу, многое беру из зарубежных источников, из Интернета, из личной переписки с писателями и их родственниками. И не боюсь каких-то шокирующих фактов, которые раньше от нас старательно скрывались.

Однажды на лекции о Борисе Чичибабине, когда я го-ворила о его неприятии сталинизма и читала его анти-антисемитские стихи – несколько человек демонстративно вышло. «Так-так, – подумала я. – Аудиторию надо чистить время от времени. Воздух освежать. Ещё не хватало, чтоб на мои лекции сталинисты и националисты ходили. Для этого есть СП и «Земское обозрение».

Вспомнились слова библиотечарши: «Да у меня полно тех, кто не хочет ходить на Кравченко!» А вот это уже интересно. Давайте разберёмся – кто же «не хочет»? Отметём сразу тех, кто «ленивы и нелюбопытны», и снобов, пребывающих в приятной иллюзии, что они «всё это знают». – Эти вообще не ходят никуда. Остаются следующие подгруппы:

1. Сталинисты, антисемиты, невежды и ханжи, которым нестерпима всякая смелая мысль, неожиданный факт, всё, что отходит от шаблонных прописей, заплесневелых клише и стереотипов, засевших в их заскорузлых мозгах со школьных лет. Им уютно в своей косности и неприятно открывать под старость лет, что они, оказывается, ничегошеньки не знают.

2. Те, кто был задет моей критикой, их дружки и знакомые, пылающие жаждой мести – таких за 20 лет литературной деятельности накопилось немало.

3. Завистники и «конкуренты», чьи книги не покупают, на чьи творческие

вечера и лекции не ходят, кто занимается тем же, чем я, но с меньшим успехом. Естественно, они не признаются в истинных причинах своей «нелюбви» к моим лекциям и будут бубнить всё про ту же «личную жизнь», «грязное бельё» и «жареные факты». Ничего этого никогда не было и в помине. В моих лекциях нет пошлости и обывательщины Недошивинских рассказов, нет инфантилизма и косноязычия телепередач Вульфа, нет занудности документальных сериалов И.Волгина, поверхностности лекций М.П.Беловой (за 40 минут она умудряется рассказать и о Тютчеве, и о Фете), которая, как мне говорила председатель клуба ветеранов СГУ Киселёва, была яростно против того, чтобы пригласить меня читать в их клуб лекции.

– Почему? – вяло любопытствовала я.

– Ну как же, говорит, – она же моя ученица, неужели она лучше меня прочтёт?

Увы. (Для неё – увы, но не для моих слушателей). В этот клуб Киселёва усиленно зазывала меня года два. Просила прочитать лекцию о Заболоцком, о которой слышала восторженные отзывы. Но я не люблю мероприятий «для галочки». Я всегда отношусь к этому ответственно. Стала выяснять, есть ли экран, проектор?

– Нет. А нам не надо.

– Магнитофон? – «Не обязательно».

Но это уже не тот вечер, я так не читаю. Почему бы вашим ветеранам не прийти послушать в библиотеку? Здесь всего два квартала. Или вам это для галочки нужно?

Взрыв возмущения.

– Вы же кончали наш университет и не хотите для своего же университета... Светочка Кекова и то у нас читала, не отказывала.

– Я тоже могу почитать вам свои стихи. Даже провести творческий вечер – тут не нужен магнитофон и экран.

– Нет, у нас есть свои поэты. У нас Кекова...

– Ну пусть вам тогда и лекцию Кекова прочтёт. Тем более что она, кажется, защищалась по Заболоцкому.

Но им нужна была именно моя. В отместку, что не удалось меня тогда склонить к выступлению в необорудованном зале, Киселёва теперь меня порочит на всех углах и заявляет в библиотеке, что все её ветераны «принципиально» на меня не ходят. Что абсолютное враньё. Войцеховская, преподаватели СГУ говорили мне, что после каждой лекции в их клубе по субботам они в полном составе сломя голову бегут на мои в библиотеку, боясь опоздать (у них начинается в 15 часов, а у меня – в 17), а тем, кто не ходит к Киселевой, та выговаривает с детской обидой: «К Кравченко вы ходите, а к нам нет!»

Кто ещё остаётся из тех, что «не ходят»? Лавринович, которая ушла с лекции Цветаевой, хлопнув дверью, но которая тем не менее рвётся у меня выступать, и я устала отбивать её атаки? Сапогова, которая пила

нитроглицерин, не выдержав груза новой информации о Некрасове?

А теперь спросите всех тех, кто ходит (в моих списках постоянных слушателей их 758 человек), спросите этих учителей, профессоров, кандидатов наук, людей разных профессий – что их привлекает в моих лекциях? «Клубничка», как бесстыдно врал в газете «Жизнь» Куракин в анонимной заметке? «Грязное бельё»? Спросите их и послушайте, что они вам скажут. Или почитайте в книге отзывов в областной научной библиотеке, что люди пишут о моих вечерах. Есть там хоть один негативный? То-то. А правда – она многим глаза колет.